

МАРК
СЛОНИМ

Прижизненное
издание
ДОСТОЕВСКОГО

Москва
Софийский издательство
1991

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда в 1854 г. Достоевский оказался в Семипалатинске, Он был зрелым, 33-х летним мужчиной. На каторге он приобрел значительную власть над своими настроениями или по крайней мере их внешними проявлениями. Прежние черты замкнутости и скрытности усилились, а то, что он называл «отсутствием формы» или манер, приобрело характер резкости и даже дико-ватости. В нем произошел также и внутренний переворот: он отказался от прежних либеральных идей, которые послужили причиной катастрофы, принял наказание как должное, и, придя в соприкосновение с подлинными представителями крестьянской Руси, отрёшился от множества прекраснодушных иллюзий о народе. Сильнее, чем когда-либо прежде, ощущил он необходимость веры в Бога, и Христос, страдавший на кресте и искупивший грехи людей своей собственной смертью, сделался для него самым близким и понятным образом человека и символом религии всепрощения и милосердия.

«Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа — нет и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться с Христом, нежели с истиной», писал он Н. Д. фон Визиной по выходе с каторги. Но почти одновременно он писал брату: «я дитя века, дитя ис-

верия и сомнения, до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить». (Февраль, 1854).

Прежняя его мечтательность осталась, но и она сильно изменилась. Теперь, еще больше, чем в молодости, знал он разницу между Афродитой земной и Афродитой небесной. Он немало видел и пережил на ссыльных этапах и в Омской каторжной тюрьме, где его товарищи по несчастью занимались мужеложством или любовью с такими бабами-калачницами, на которых и взглянуть было страшно.

От женского общества он успел настолько отвыкнуть, что ментал о нем, как о высшем блаженстве. В Семипалатинск он приехал с тайными стремлениями, в которых сам себе боялся признаться. Он походил на больного, который начинает выздоравливать после смертельной болезни и с удвоенной силой чувствует всю прелест и соблазны бытия. Он сам писал: «надежды было у меня много. Я хотел жить». И он хотел любить.

Через несколько месяцев после приезда в Семипалатинск, Достоевский встретился на квартире подполковника Беликова с Александром Ивановичем Исаевым и женой его Марьей Дмитриевной.

Александр Исаев, бывший учитель гимназии, директором которой одно время состоял его тестя, попал в Семипалатинск в качестве чиновника для особых поручений по корчемной части. Работы у него было немного, но корчмы притягивали его неотступно. Он вскоре потерял службу и, очутившись без места и без средств, стал пить горькую. Человек слабого здоровья и еще более слабой воли, он попал в компанию пьяниц и забулдыг, которых было немало в городке, и вскоре совсем опустился. В пьяном виде он любил разглашать свою возвышенности и изящество своих чувств, и заверял Достоевского о своей любви к нему

как человеку и писателю. Два года спустя, в письме к брату, Достоевский так говорил об Исаеве: «жил он очень беспорядочно, да и натура его была довольно беспорядочная, страстная, упрямая и немного загрубелая. Он очень опустился в здешнем мнении и имел много неприятностей, но вынес от злышнего общества много незаслуженных преследований. Он был беспечен, как цыган, самолюбив, горд, не умел владеть собой и, как я сказал уже, опускался ужасно. А между прочим, это была натура сильно развитая, добрейшая. Он был образован и понимал все, о чем бы с ним ни заговорить. Он был, несмотря на множество грязи, чрезвычайно благороден».

Несомненно, что Достоевский-романист очень заинтересовался этим «благородным пьяницей с амбициями». Воспоминание о нем, вероятно, жило в писателе, когда, несколько лет спустя, он создавал Мармеладова в «Преступлении и наказании» и Лебедева в «Идиоте». Нити от Исаева протягиваются даже к Мите Карамазову.

Уже в начале знакомства с Достоевским Исаев был болен и несчастен. Семипалатинское общество чиновников и офицерских жен перестало его принимать, местные власти были возмущены его пьяными речами и дерзкими выходками, кутежи и беззаберная жизнь привели его семью к долгам и нужде. Достоевский часто выговаривал ему, читал нотации, но это не помогало, и все продолжалось попрежнему.

Жена Исаева, Марья Дмитриевна, у которой был от него семилетний сын Паша, очень страдала от создавшегося положения. Отец ее, Дмитрий Степанович Констант, начальник карантина в Астрахани, был, по всей вероятности, сыном французского дворянинна, бежавшего в Россию, как и множество его сородичей, от ужасов революции и террора. Не следует придавать значения свидетельству дочери Достоевского, Любови,

которая, в числе прочих своих измышлений и фантазий, сообщает, будто отцом Марии Дмитриевны был наполеоновский мамелюк, который де попал в плен в 1812 году, был отправлен в Астрахань и там пленил сердце какой-то купеческой девицы, вышедшей за него замуж и устроившей его в армию. Хотя Любовь признает, что «вид Марии Дмитриевны не выдавал ее восточного происхождения», она не удерживается от замечания: «как все негритянки, она была хитра». Сказка о происхождении Марии Дмитриевны, как и многие другие небылицы на ее счет, имели одну совершенно определенную цель — опорочить Марию Дмитриевну и доказать, что она была интриганка и обманщица и что Достоевский не любил ее. Известно, что вторая жена писателя, Анна Григорьевна, тщательно вымарывала из его писем все те места, в которых он говорил о своей любви к Исаевой или хвалил ее. Эта ревность к прошлому, очевидно, передалась и дочери писателя, и она постаралась очернить Марию Дмитриевну.

Дочь полковника Константа получила хорошее по тому времени воспитание. В 1854 году ей было 28 или 29 лет (она родилась в 1825 или 1826 году).

«Довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная, — так рисует ее Врангель. — она была начитана, довольно образована, любознательна, и необыкновенно жива и впечатлительна». На сохранившемся лагеротипе эпохи ее волнистые светлые волосы разделены пробором посередине; рот несколько широк с выдающейся, чуть припухлой нижней губой, придающей всему лицу капризное выражение, глаза темные, глубокие, но небольшие. Страхов говорит, что черты ее были мелкие, но привлекательные, а на щеках играл нездоровий румянец. Вид у нее вообще был хрупкий и болезненный, и этим она порою напоминала Достоевскому его мать.

Нежность ее лица, физическая слабость и какая-то душевная беззащитность вызывали в нем желание помочь ей, оберегать ее, как ребенка. То сочетание детского и женского, которое всегда остро ударяло по чувственности Достоевского, и сейчас возбудило в нем сложные переживания, в которых он не мог, да и не хотел, разобраться. Мария Дмитриевна сразу очаровала его и своими материнскими о нем заботами, и своей хрупкостью, пробуждавшей в нем физическое влечение. Кроме того, он восхищался ее тонкой и необыкновенной, как ему казалось, натурой.

Мария Дмитриевна была нервна, почти истерична, но Достоевский, особенно в начале их отношений, видел в изменчивости ее настроений, срывах голоса и легких слезах признак глубоких и возвышенных чувств. Когда он стал бывать у Исаевых, Мария Дмитриевна пожалела и приголубила странного своего гостя, хотя вряд ли отдавала себе отчет в его исключительности. Попросту, по-женски, ощутила она, что этот неуклюжий рядовой, который мог то часами сидеть, почти не говоря, то вдруг, зажегшись, произносить длиннейшие и не всегда понятные тирады, перенес больше, чем кто бы то ни было из людей ее круга — и быть его добрым гением, ощущать его молниеносную и благодарную реакцию на каждое доброе слово, на каждый участливый взор, было ей приятно и льстило ее сильно развитому самолюбию. Да и кроме того, она сама в этот момент нуждалась в поддержке: жизнь ее была тосклива и одинока, знакомств она поддерживать не могла из-за пьянства и выходок мужа, да на это не было и денег. И хотя она гордо и безропотно несла свой крест и добросовестно «исправляла должность служанки и ходила за мужем и сыном», ей часто хотелось и пожаловаться, и излить свое наболевшее сердце. А Достоевский был прекрасным слушателем. Он был всегда под рукой, он отлично понимал ее обиды, он помогал ей переносить

с достоинством все ее несчастья — и он развлекал ее в этом болоте провинциальной скуки.

«Я не выходил из их дома. Что за счастливые вечера я проводил в ее обществе. Я редко встречал такую женщину», — писал он впоследствии. Муж предпочитал дому кабак или валялся на диване в полуспящем виде, и Марья Дмитриевна оказывалась наедине с Достоевским, который вскоре перестал скрывать свое обожание. Никогда, за всю его жизнь, не испытывал он подобной интимности с женщиной — и с женщиной из общества, образованной, с которой можно было разговаривать обо всем, что интересовало его. Впервые за долгие годы его не встречали насмешками, он не должен был бороться с соперниками, как в салоне Панаевой, он не ощущал себя приниженным, а мог быть на равной ноге с любимой.

Весьма возможно, что Марья Дмитриевна привязалась к Достоевскому, но влюблена в него ничуть не была, по крайней мере в начале, хотя и склонялась на его плечо и отвечала на его поцелуй. Он же в нее влюбился без памяти, и ее сострадание, расположение, участие и легкую игру от скуки и безнадежности принял за взаимное чувство. Ему шел 34-ый год — и он еще ни разу не имел ни возлюбленной, ни подруги. Он искал любви, любовь была ему необходима, и в Марье Дмитриевне его чувства нашли превосходный объект. Она была первой интересной молодой женщиной, которую он встретил после четырех лет катоги, и он овеял ее всеми чарами неудовлетворенных желаний, эротической фантазии и романтических иллюзий. Вся радость жизни воплотилась для него в этой худощавой блондинке. Она казалась ему и милой, и грациозной, и умной, и доброй, и желанной. И кроме того — она была несчастна, она страдала — а страдание не только привлекало его внимание, как писателя, но и поражало его воображение и вызывало в нем немедленный по-

рыв. Чувствительность к чужому горю странным образом повышала его эротическую возбудимость. Садистские и мазохистские влечения переплетались в Достоевском самым причудливым образом: любить — значило жертвовать собою и отзываться всей душой, всем телом на чужое страдание, хотя бы ценю собственных мук. Но порою любить — значило мучить самому, причинять страдание, больно, ранить любимое существо. На этот раз высшее наслаждение было в жертве, в облегчении страданий той, ради кого он готов был решительно на все.

Марья Дмитриевна была женщина нелегкая: она быстро обижалась, от хлопот и дряг у нее делались частые мигрени, она прижимала пальцы к вискам в жесте отчаяния и безнадежности. Она постоянно раздражалась, говорила, что «поганое общество не ценит ее», называла себя «мученицей», и Достоевский ей поддавал и немедленно с ней соглашался. Мужа она не любила или разлюбила, во всяком случае остатки чувств, которые у нее к нему оставались, были разрушены его нелепым поведением и пьянством, вызывавшим в ней горечь и отвращение. Все надежды свои она перенесла на сына Пашу, из которого, по ее мнению, должен был выйти замечательный человек. Но покамест семилетний мальчик никаких выдающихся качеств не обнаруживал. Хотя Марья Дмитриевна могла сколько угодно говорить, что жизнь ее кончена, но ей еще не было и тридцати лет, и конечно, она хотела и жизни, и любви, и счастья, и удачи. То, что Достоевский воспыпал к ней настоящей, глубокой страстью, она отлично понимала — женщины это обычно легко распознают — и его «ухаживания», как она их называла, она принимала охотно, не придавая им, однако, слишком большого значения: ведь исходили они от человека, лишенного прав, ссыльного, у которого, опять-таки по ее выражению, «не было будущности» — а были многочислен-

ные и порою пугающие странности. Но на него можно было положиться, и она не могла пренебречь даже и такой опорой.

После того, как рассеялся пыльный туман первой влюбленности, Достоевский довольно хорошо разбрался в тех особенных обстоятельствах, при которых зародилось его чувство к Марье Дмитриевне: «одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни», правдиво писал он впоследствии. Он еще яснее увидал все трудности своих отношений к замужней женщине, матери и жене, когда он получил возможность обсуждать их в бесконечных беседах со своим новым другом Врангелем.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Появление Врангеля в Семипалатинске зимою 1854 года показалось Достоевскому подарком судьбы. Несмотря на очень холодный и неприступный вид, который весьма помогал ему в административной карьере, молодой прокурор, посвятивший немало времени своим пышным рыжеватым бакенбардам, был очень добрый и отзывчивый человек, да еще к тому же и с романтическим воображением. Через год после знакомства, перешедшего в тесную дружбу, быть может, единственную в жизни Достоевского (он был с ним в разговорах и письмах более откровенен, чем с кем бы то ни было — и это на протяжении многих лет), Федор Михайлович так характеризовал его в письме к брату:

«Это человек очень молодой, очень кроткий, хотя с сильно развитым роем d'bonneur, до невероятности добрый, немножко гордый (но это снаружи, я это люблю), немножко с юношескими недостатками, образован, но не блестительно и не глубоко, любит учиться, характер очень слабый, женски впечатлительный, ипохондрический и довольно мнительный, что другого злит и бесит, то его огорчает, признак превосходного сердца».

К этому надо еще прибавить, что он искренно привязался к Достоевскому и немедленно после приезда начал помогать ему со всем пылом юношеского идеализма. Он познакомил его с военным губернато-

ром П. М. Спиридовым, и с этого момента бывшего ссыльного стали принимать в домах всех именитых граждан Семипалатинска. Это сильно подняло социальный престиж Достоевского; скоро он был произведен в унтер-офицеры, и условия жизни его значительно улучшились — у него теперь было и больше свободного времени, и возможность распоряжаться им по собственному усмотрению. С Врангелем Достоевский мог говорить совершенно открыто, а когда барон в свою очередь влюбился в одну замужнюю ладу, мать нескольких детей, жившую в Барнауле и немилосердно с ним кокетничавшую, разговоры их превратились в обмен сердечных тайн. Молодой прокурор терпеливо выслушивал восторженные речи Достоевского о Марье Димитриевне: «она добра, мила, грациозна, с превосходным великодушным сердцем, — говорил Достоевский, — она хорошенская, образованная, очень умная». Врангель не только был другом и конфидентом, но и оказывал деятельную помощь Достоевскому. Ему нравилось играть роль во всех перипетиях этой любовной истории, в которой, что ни день, появлялись новые осложнения.

В начале 1855 года Марья Димитриевна, наконец, ответила на любовь Достоевского. Был ли это попросту момент случайной близости или же отношения их превратились в настоящую связь — сказать трудно. Во всяком случае — произошло сближение. Но как раз в те дни, когда Достоевский уверовал во взаимное чувство Марии Димитриевны и, как он писал, «получил от нее доказательства ее любви», Исаева назначили ^{цена} заседателем в Кузнецк, за шестьсот верст от Семипалатинска. Это означало разлуку — быть может навсегда. В довершение всего, именно Достоевский должен был доставать денег на отъезд: у Исаева не было ни копейки, и обратился он, естественно, к лучшему другу семьи. А у Достоевского своих денег не было: он занял

всё у того же Врангеля и передал нужную сумму Марье Димитриевне.

Весной 1855 Врангель снял дачу Козакова в окрестностях Семипалатинска, и, так как батальон Достоевского был переведен неподалеку на летние квартиры, унтер офицеру удавалось по целым неделям жить у господствующего друга. Когда Исаева двинулись в путь в июне 1855 года, они остановились попрощаться на даче у Врангеля. Было подано шампанское, и Врангель не составило особого труда напоить Исаева и устроить его на мирный сон в карете. Между тем Достоевский и Марья Димитриевна отправились в сад. По свидетельству Врангеля, молодая женщина к моменту отъезда уже и сама была захвачена своим чувством к Достоевскому. Влюбленные «обнимались и ворковали», держали руки друг у друга, усевшись на скамейке, под тенистыми деревьями. Но почтовый ямщик настаивал, чтобы господа, наконец, пустились в дорогу. Надо было уезжать. Достоевский со слезами на глазах проводил Марью Димитриевну к тарантасу, в котором хранил Исаев. Последнее объятие, ямщик взмахнул кнутом, кони рванулись — уже и тарантас скрылся в белом клубе пыли, а Достоевский всё стоял и смотрел ему вслед, на дорогу, исчезавшую среди сосен.

Видя тяжелое настроение друга, Врангель всячески старался развлечь его. На даче был огромный сад, и устраивать его поручили двум красивым дочкам квартирной хозяйки Достоевского: молодые разбитные девушки вносили немало смеха и веселья — а может быть и больше того — в дом молодого прокурора и его сумрачного приятеля. Весть о цветах, разводимых в Козаковом саде, распространилась по Семипалатинску, и Врангеля стали навешивать местные модницы, которых он не очень-то жаловал. Достоевский помогал ему отводить их от дома. Он очень тосковал, глядел как мальчик на скамейку, на которой прошался с Марьей Ди-

митриевной, и что-то бормотал себе под нос: у него была привычка вслух разговаривать с самим собой. По словам Врангеля, он был в восторге от Исаевой, всё повторял, какая она замечательная, и удивлялся, что такая женщина ответила на его любовь. Он счастье считал себя достойным ее внимания. Он всё писал ей письма, хотя и должен был сдерживать себя из-за мужа:

«Судя по тому, как мне тяжело без вас, — пишет он ей чуть ли не на другой день после ее отъезда, — я сужу о силе моей привязанности. Вы писали, что вы расстроены и даже больны. Я за вас в ужаснейшем страхе. Боже мой! Да достойна ли вас эта участь, эти хлопоты, эти дрянти, вас, которая может служить украшением всякого общества. Вы удивительная женщина сердце удивительной, младенческой доброты, вы были мне, как родная сестра. Женское сердце, женское участие, бесконечная доброта... я все это нашел в вас... Живу я теперь совсем один, деваться мне совершенно некуда».

Он, действительно, очень тосковал, и не обращал внимания на кокетничанье молоденькой и хорошенькой Мариной О., дочери ссыльного поляка, которой он давал уроки. Ученица — девушка живая, энергичная и несколько сумасбродная, была неравнодушна к своему учителю, особенно когда узнала, что у него роман с другой женщиной. Мария Дмитриевна была осаждена о Марине и сильно к ней ревновала.

Когда настроение у Достоевского улучшилось, он декламировал — он любил читать вслух, особенно поэмы Пушкина, — помогал девушкам по саду или вел нескончаемые беседы с Врангелем. Об его любви простигало уже несколько человек из его знакомых, и они решили оказать ему содействие и устроить тайное свидание с Марьей Дмитриевной где-нибудь между Семипалатинском и Кузнецком. Так как Достоевский

сильно рисковал, выезжая из города без разрешения начальства (он все еще был под наблюдением полиции, письма к нему перлюстрировались, а его шли адресатам в Россию через третье отделение), то был устроен целый заговор. Достоевский сказался больным, знакомый доктор подтвердил, что ему надо отлежаться, а между тем минимум пациент мчался на лошадях, предоставленных друзьями (не тем же ли Врангелем?) в Змеев за 160 верст от Семипалатинска. Но там, вместо Марии Дмитриевны, нашел он ее письмо с извещением, что ввиду изменившихся обстоятельств ей не удалось отлучиться из Кузнецка. Достоевский, даже не отдохнув, тотчас же пустился в обратный путь. «Изменившиеся обстоятельства» была болезнь Исаева. В конце июля состояние его сделалось безнадежным. Он умер через две недели. Достоевский узнал об этом 14 августа из письма Марии Дмитриевны, которая рассказывала, как муж благословил ее и сына перед христианской своей кончиной, и описывала все произшедшее, равно как и свое собственное душевное состояние в довольно шаблонных и реторических выражениях. Она осталась без средств и не знала, что ей делать. Достоевский немедленно выслал ей 25 рублей — все, что было у него — и обратился к Врангелю, находившемуся в это время по делам службы в Барнауле. Он заклинал приятеля всеми святыми, умоляя оказать финансовую помощь несчастной жене. Положение Марии Дмитриевны, действительно, было критическим. Она оказалась в чужом, незнакомом ей Кузнецке одна, без средств, без родных и знакомых, с маленьким сыном на руках. Смерть Исаева, с другой стороны, сильно меняло положение Достоевского. Ему не надо было больше скрывать своей любви. Он тотчас же предложил Марье Дмитриевне выйти за него замуж. Им руководило не только желание помочь ей, урегулировать их отношения, и чувство страстной любви —

«Боже мой, что за женщина, как жаль, что вы ее так мало знаете», — писал он Брангелю, — но и сильная тяга к брачной жизни. «Нет ничего на свете выше счастья семейного», — писал он брату по выходе из каторжной тюрьмы. Семейная жизнь его родителей представлялась ему незамутненной и счастливой, а детство было лучшим и чистым его воспоминанием. Семья казалась ему возвратом в эту золотую детскую пору, которую он, после всех своих испытаний и несчастий, охотно идеализировал. Кроме того, у него с 17 лет не было своего угла, он мечтал о браке, как о тихой пристани, о домашнем уюте, женской заботе. Брак с Марьей Дмитриевной — брак по горячей, подлинной любви — разрешал все вопросы и устраивал и материальную, и сентиментальную, и эротическую стороны существования.

Марья Дмитриевна, конечно, на всё это смотрела иначе. В ответ на пылкие письма возлюбленного, который настаивал на окончательном и немедленном решении, она писала, что грустит, отчаявается и не знает, как ей поступить. Достоевский понимал, что главным препятствием к «устройству нашей судьбы», как она называла проект их брака, была его личная неустроенность.

Социальное положение Достоевского было незавидное: унтер-офицер Линейного батальона, бывший каторжник, лишенный дворянства, состоявший под надзором полиции и на подозрении начальства. Впереди — еще три года военной службы, а затем полная неизвестность. О писательском его таланте Марья Дмитриевна хорошо судить не могла, никаких новых произведений его не видела, а успех «Бедных людей» имел десятилетнюю давность. Никто не мог с уверенностью сказать, разрешат ли ему когда-нибудь печататься. Доступ в Европейскую Россию был ему покамест закрыт. Средств у него не было: родные посыпали ему

немного денег, на которые он и существовал. Как же мог он завести семью? Правда, после смерти Николая I и восшествия на престол Александра II, появилась надежда на улучшение участия бывших петрашевцев. Достоевский слал множество писем родным и знакомым с просьбами похлопотать о разрешении печататься и производстве в офицерский чин. Порою, когда он сообщал Марье Дмитриевне о своих попытках «победить судьбу», она воодушевлялась и готова была ответить согласием на брак, но потом снова теряла веру. Настроения ее не отличались устойчивостью. Отец посыпал ей деньги из Астрахани, и она могла кое-как перебиваться в ожидании скромной пенсии, полагавшейся вдове чиновника Исаева. Но она постоянно болела, недомогания — предвестие чахотки — делали ее раздражительной, она донимала Достоевского подозрениями и ревностью. Почему должна была она верить ему после десяти месяцев разлуки? Быть может, он завел шашни с Мариной или спал с дочерью своей квартирной хозяйки! А все эти купеческие дочки, которым он давал уроки математики, наверное, пытались вскружить ему голову.

И Марья Дмитриевна решается «испытать» его любовь. В самом конце 1855 года Достоевский получает от нее странное письмо. Она спрашивает его мужского беспристрастного совета: «Если бы нашелся человек пожилой, и обеспеченный, и добрый, и сделал ей предложение...». Прочитав эти строки, Достоевский зашатался и упал в обморок. Когда он очнулся, он с отчаянием сказал себе, что Марья Дмитриевна собирается выйти замуж за другого. В этом предположении не было ничего невозможного. Достоевскому окольными путями стало известно, что кузнецкие кумушки разрывались на части в поисках «положительного человека и хорошего жениха» для бедной вдовы. Правда, в том же письме Марья Дмитриевна заверяла Досто-

саского в свой к нему любви, но он принял ее слова, как свидетельство ее доброты, как желание его утешить.

Нerves его были так напряжены из-за долгой разлуки, из-за неизвестности, что мысль о возможности потерять Марью Димитриевну совершенно сразила его. Проведя целую ночь в рыданиях и муках, он на утро написал Марье Димитриевне, что умрет, если она оставит его. «Велика радость любви, — писал он Врангелю об этом эпизоде, — но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить. Клянусь вам, что я пришел в отчаяние. Едва понимаю, что мне говорят и как я живу. Неподвижная идея в моей голове». Незадолго до этого он начал «комический роман», «Село Степанчиково», но работа теперь не идет: «одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и, наконец, посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив и не мог работать. Потом грусть и горе посетили меня. Я потерял то, что составляло для меня все. Сотни верст разделяли меня. Я не мог писать» (письмо А. Майкову, январь 1856 г.).

Нерешительность Марии Димитриевны, сводившая с ума Достоевского и питавшая самые чудовищные его сомнения, происходила от разных причин: она не была уверена в самой себе, она колебалась по практическим соображениям, а, кроме того, ей доставляло удовольствие испытывать свою власть над влюбленным в нее мужчиной — и таким образом подлинные чувства соединялись тут с игрой.

Для Достоевского же никакой игры быть не могло. Он любил со всей силой запоздалой первой любви, со всем пылом новизны, со всей страстью и волнением игрока, поставившего состояние на одну карту. По ночам его мучили кошмары и текли слезы. Ожидание письма из Кузнецка было пыткой, а его долгожданный приход — либо разочарованием либо взрывом новых со-

мнений и подозрений. Он знал, что она слаба и доверчива и опасался чужого влияния: «ее можно уверить в чем угодно». Он знал также, что она «раздражительна и развита сердцем» — это означало ее способность поддаваться чьим-либо ухаживаниям. Все видели в ней одну слабость и нежность: он же знал ее такой, какой другие никогда ее не видали. Это о ней писал он впоследствии в «Униженных и оскорбленных»:

«Сердце мое защемило тоской, когда я разглядел эти впалые бледные щеки, губы, запекшиеся, как в лихорадке, и глаза, сверкающие из-под длинных темных ресниц горячечным огнем и какой-то страстной решимостью».

Но, может быть, еще кто-либо сумел зажечь в ней этот горячечный огонь? Он был ревнив, и еще во время пребывания в Семипалатинске докучал ей выговорами по поводу каждого взгляда, брошенного на мужчину. Но ревность митильной и болезненной Марии Димитриевны была еще острее. Она подозревала его в тайной связи с каждой встречной женщиной. На масленицу 1856 года Достоевского часто приглашали на блины, он танцевал с дамами (несмотря на некоторую неуклюжесть, он был отличным танцором и любил танцы). Он сам написал ей об этих невинных развлечениях, но она возомнила Бог весть что и решила отомстить ему. Оиять в ее письмах появились намеки об искателях ее руки и тайных воздыхателях. Эта трагикомедия ошибок продолжалась до апреля, когда Марья Димитриевна пришлось отчасти признаться в ее игре. Кузнецкие дамы предложили ей жениха, она заявила им, что у нее уже есть один на примете. Эти слова дошли до Федора Михайловича и снова привели его в отчаяние: оказаюсь, что, говоря о «человеке на примете», Марья Димитриевна имела в виду именно его. Но

ходе замуж за пожилого и богатого, она окончательно не отказалась, и когда писала Достоевскому о своей

горячей к нему любви, не забывала упомянуть: «а же-
них — это только расчет». Достоевский, в конце кон-
цов, пришел к заключению, что Марья Дмитриевна,
по слабости, находилась в том же положении, что и
героиня его «Бедных людей», Варвара, которая решила
выйти за «степного помещика» Быкова, чтобы избег-
нуть нужды и не погубить Макара Девушкина. «Напро-
рочил же я себе», — восклицает Достоевский. Но у
Варвары не было семьи, а Марья Дмитриевна должна
была думать о сыне. Несомненно, что ей было не легко,
хотя Достоевский и преувеличивал ее стесненные об-
стоятельства, когда писал Врангелю, что у нее нет ни
копейки, и повсюду занимал, чтобы выслать ей денеж-
ный перевод. Тотчас же после смерти Исаева Кон-
стант прислал дочери 300 рублей, сумму, по тому вре-
мени немалую, а затем регулярно ей помогал: Досто-
евский должен был потом признать, что «она ни в чем
не нуждалась».

Его личные дела были гораздо хуже: хроническое
безденежье, нищенская обстановка дома, подчиненное
положение на службе. Самым мучительным было то,
что он жил, главным образом, надеждами, но постоянно
опасался какой-нибудь неудачи, которая лишит его
Марии Дмитриевны. В письмах к Врангелю, который
в это время уехал в Петербург и в свою очередь стра-
дал от любви к своей барнаульской даме (Е. И. Герн-
гросс), он восклицал: « Я погибну, если потеряю сво-
его ангела: или с ума сойду, или в Иртыш». А для того,
чтобы окончательно завоевать ее, ему необходимо бы-
ло обеспечить себе такое «внешнее устройство», при
котором не оказались бы опасны никакие кузнецкие
женихи со средствами. Это устройство составляло пред-
мет его дум и тему всех его писем: программа минимум
была переход из военной службы в штатскую, что
предполагало место с жалованьем, и некоторое коли-
чество денег, чтобы прожить до назначения. Достоев-

ский теперь мечтал стать чиновником 14 класса, т. е.
одним из тех мелких канцеляристов, каких он вывел в
«Бедных людях» и «Двойнике». Конечно, самое лучшее
было бы получить разрешение печататься: «тогда все
уроится, ведь, главное, никто не знает ни сил моих, ни
степени таланта, а на это-то главное и надеюсь». В этой
фразе Достоевский проговорился: чиновничьей служ-
бы мог он желать лишь в дни отчаяния и безнадежно-
сти: на самом деле было у него лишь одно неодолимое
стремление — печататься, зарабатывать на жизнь ли-
тературой, вновь взять в руки перо, то самое перо, ко-
торое отняли у него при заключении в крепость в
1849 году, которое не давали ему на каторге, которое,
через пять лет, мог он с трудом получить, будучи сол-
датом в сибирском захолустном гарнизоне. И только,
когда осуществление этой заветной надежды, казалось,
чересчур отдаленным, был он готов, ради соединения с
любимой женщиной, сделаться сам Макаром Девушки-
ным, чиновником 14 класса. «Не сейчас же я женюсь, а
выжду чего-нибудь обеспеченного, она же с радостью
подождет, только бы имела надежду на верное устрой-
ство судьбы моей». И одно за другим летят письма из
Семипалатинска в Петербург, к генералу Тотлебену, к
Врангелю, к сановникам, к знакомым, к родным. Как
всегда, он сочиняет самые фантастические проекты: не
написать ли ее отцу, чтобы отвадил женщиков, не по-
слать ли прошение Государю, не обратиться ли к ген-
ералам, которые знали его в Инженерном Училище?
Он мечется и по своему обыкновению волнуется, пре-
увеличивает: житейские мелочи в его воображении
принимают пугающие очертания, препятствия обра-
щаются в кошмары. Писание тоже причиняет не мало
забот: оно подвигается с большим трудом.

Выйдя из каторги, Достоевский почти не мог пи-
сать: стихи, которые он сочинил в мае 1854 года, «На
Европейские события в 1854 году», имели явную цель

— доказать его патриотические и верноподданнические чувства: он громит французов и англичан, выступающих на защиту турок против Христа, и славит русского царя, Божьего помазанника и защитника веры. Литературная ценность их была ничтожна. Затем, уже после отъезда Исаевой, он принялся, наконец, за прозу — и должен был долго преодолевать ту негибкость, почти одеревянелость, какую знают все писатели, художники, артисты после длительного перерыва в работе. Он медленно возвращался к тому самому исходному положению, в котором застала его катастрофа семь лет тому назад.

В мае 1856 года в письмах Марии Димитриевны вновь зазвучали тревожные ноты. То она пишет, что грустит и тоскует, то вдруг заявляет: «мы слишком много страдали, слишком несчастны, чтобы мечтать о браке», она не составит его счастья, лучше обо всем позабыть, ото всего отказаться. Единственное, о чем она его просит, это похлопотать о Паше, ему уже идет девятый год, его надо определить в какое-нибудь закрытое учебное заведение.

Измученный всей этой перепиской с ее чередованием холода и жара, Достоевский решается на крайний шаг: необходимо личное свидание с Марией Димитриевной, надо выяснить все и переговорить с глазу на глаз. И значит надо ехать в Кузнецк.

После долгих хлопот и всяческих ухищрений, Достоевскому удалось заручиться помощью батальонного командира, знавшего обо всех его любовных треволнениях. Унтер-офицер Достоевский получил служебное поручение отвезти в Барнаул фургон с веревками. А от Барнаула до Кузнецка не слишком далеко. И Достоевский пустился в дорогу с надеждой через несколько дней увидеть и обнять Марию Димитриевну.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Достоевский тайно уехал из Барнаула в Кузнецк, мечтая, что свидание с женщиной, на которую, по его собственному выражению, он «имел права», разрешит все сомнения и трудности. Но вместо радостной встречи в Кузнецке его ждал страшный удар. Он вошел в комнату к Марье Димитриевне, и она не бросилась ему на шею: с плачем целуя его руки, она закричала, что все потеряно, что брака быть не может — она должна признаться во всем: она полюбила другого. Этот другой, Николай Борисович Вергунов, родом из Иркутска, учитель начальной школы, был довольно красивый 24-х летний молодой человек, и Марья Димитриевна увлеклась им физически, и даже подумывала о том, чтобы выйти за него замуж. Достоевский выслушал ее рассказ, стиснув руками голову, потом заметил, что Вергунов когда-нибудь попрекнет ее за то, что она хотела только сладострастия и заслала ему век. Марья Димитриевна сперва приписала эти слова ревности, но потом задумалась и опять начала плакать. Она теперь не верила ни в чью любовь. Напрасно Достоевский в долгой беседе пытался понять ее истинные чувства и определить отношения между нею и Вергуновым: несвязанный разговор этот, вероятно, был похож на тот, который он затем описал в «Униженных и оскорбленных», между Ваней и Наташей:

«Не уважаешь, не веришь даже в любовь его, и идешь к нему без возврата, и всех для него губишь. Что

же это такое? Измучает он тебя на всю жизнь, да и ты его тоже».

«Да, люблю, как сумасшедшая, — отвечала она, побледнев, как будто от боли. — Я тебя никогда так не любила, Ваня. Я ведь и сама знаю, что с ума сошла и не так люблю, как надо. Нехорошо я люблю его... Я ведь и прежде знала и в самые счастливые минуты наши предчувствовала, что он даст мне одни только муки».

Вместо мнимого «солидного» жениха, за которого Марья Дмитриевна якобы готова была выйти «по расчету», Достоевский нашел в Кузнецке счастливого соперника, бывшего едва ли не беднее его самого. Он опасался повторения ситуации «Бедных людей», а в действительности ему грозила ситуация «Белых ночей» — или даже хуже. Марья Дмитриевна настаивала на его встрече с Вергуновым: «с ним я сошелся, он пласал у меня, но он только и умеет плакать», с горечью заметил Достоевский. Быть может он ощущал к нему то же чувство, что и герой «Униженных и оскорбленных» к возлюбленному Наташи: «он был слаб, доверчив и робок сердцем, воли у него не было никакой. Обидеть, обмануть его было бы и грешно и жалко». Чтоб не обижать Вергунова, Достоевский скрыл свои собственные переживания и спокойно рассуждал о шансах возможного брака Марии Дмитриевны с молодым учителем. Ему приходилось взвешивать свои слова и пускаться на мелкие хитрости: «я знал свое ложное положение, — пишет он Врангелью, — ибо начни я отсоветовать, представлять им будущее, оба скажут — для себя старается, нарочно изобретает ужасы в будущем». Но что бы он ни говорил Марье Дмитриевне, он прекрасно понимал, что она чувствовала себя госпожей и владычицей по отношению к новому другу — а он был ее жертвой.

«Она предвкушала наслаждение любить без памя-

сывая поворот в се-

ждал этого, она бросилась в его объятия в вознагра-
дила его за всё, что он претерпел. «Я прошел не зря
какие два дня, — писал он Врангелю, — это было бла-
женство и мученье нестерпимое». Передалась ли сей
страстъ Достоевскому, была ли она захвачена возвратом
собственного чувства, попалась ли в путы слож-
ной своей игры или не захотела отказаться от влады-
чества над обоими мужчинами — всё равно какой
ценой — но несомненно, что она снова сблизилась с
Достоевским, и он мог сказать: «к концу второго дня
я уехал с полной надеждой». Он сам подчеркнул это
слово. Но несмотря на «доказательства любви», как он
выражался, он сознавал трудность собственного положения.
Прежние иллюзии его рухнули, Марья Димитриевна предстала ему в новом обличье, и вместо не-
дашней ясности чувств, в душе его ныне царил полный хаос. Когда он выехал из Кузнецка и опьянение недав-
ней близостью вынестрилось в дороге, он подумал, что,
согласно французской поговорке, ~~если бы они были~~ ^{были} ~~неправы~~: «я

горячи недавние поцелуи Мары Димитриевны, на вер-
ность ее рассчитывать нельзя было. Да и кто мог по-
ручиться, что после отъезда Достоевского она не нач-
нет колебаться и не вернется к молодому любовнику?

Не успел Достоевский возвратиться в Семипалатинск и прийти в себя от физической и душевной вспышки, как получилось письмо от Мары Димитриевны: она тосковала, плакала, опять говорила, что любит Вергунова больше, чем Достоевского. Измученный и униженный, он забыл о своей дипломатии и написал и си и сму, уговаривая обоих посмотреть на все холо-
дно и здраво; ведь их совместная жизнь, а тем более
брак, были бы безумием. Марья Димитриевна промол-
чала, а Вергунов обиделся и ответил грубой бранью.
Это не помешало Достоевскому начать хлопоты по

устройству его на лучшее место: ведь как ни как, учитель мог вскоре стать мужем Мары Димитриевны, а ее благополучие было ему дороже всего на свете. Он победил ревность и горечь, он поступил как Дон Кихот, принося самозабвеннную жертву. Но страдал он от этого собственного благородства невыносимо. Идея бра-
ка Мары Димитриевны по расчету, ради денег оскор-
бляла его нравственное чувство, вызывала возмущение против несправедливости, против «злой доли бедных». А мысль о том, что она собиралась пойти за бедняка была по самолюбию, ранила его мужскую гордость. Ведь тут он и Вергунов были равны, оба в одинаковой степени не имели средств, чтобы содержать семью. Но 24-летний учитель и в будущем не мог ни на что рас-
считывать, кроме грошевого жалованья. Он был мало образован и карьера ему предстояла самая ничтожная, все в тех же начальных школах. А ведь Достоевский был писателем, он некогда достиг известности, и теперь, в одинокие ночи, верил в свое великое призыва-
ние. Значит Марья Димитриевна предпочла ему Вергу-
нова исключительно по любви. Речь шла о сентиментах в чистом виде. Почему же та, кого он избрал, кому от-
дал сердце, не разделяла его веры, не видела, что слава ждет его, не поставила на него? А это самое обидное для мужчины — знать, что для любимой он попросту один из многих и что она ничего не прочла на челе его. Очень многое в последующей жизни Достоевского объясняется этой обидой: ее редко прощают даже обыкновенные таланты.

Но сейчас обиду надо было проглотить: иного выхода у него не было.

«Отказаться мне от нее невозможно никак, ни в каком случае, — объяснял он Врангелю. — Любовь в мои листа не блажь, она продолжается два года, слышите, два года, в десять месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до ислепости». Справиться с этой

«нелепостью» не было уж сил — и воспоминание о прежней, хотя и минутной близости, растревяло и кровь и воображение: он всё повторял и о «доказательствах» ее любви, и о своих «правах» на нее. Но от жгучих воспоминаний не становилось легче: все заметили, что Достоевский совсем извелся. На смотрах и военных учениях он ходил как тень, знакомые опасались, что он свалится с ног. Нервное напряжение разрядилось припадком, и после него он оставался больным целую неделю. А к страданиям душевным и физическим прибавились еще и заботы материальные: поездка в Барнаул и помощь Марье Дмитриевне (он постоянно посыпал ей деньги) привели к тому, что у него накопилось свыше тысячи рублей долга. Заплатить их было неоткуда, повсюду натыкался он на высокую, неумолимую стену, и вся жизнь представлялась ему не то блужданием по кругам Дантовского ада, не то диким видением больного мозга.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В тот самый момент, когда Достоевскому казалось, что он коснулся дна и дошел до предела унижений и горя, в существовании его стал медленно намечаться поворот к лучшему. Черная серия неудач завершилась, и впереди обозначились просветы. Первого октября 1856 года он был произведен в прапорщики — первый офицерский чин, и это означало, что он вновь возвращается в тот самый привилегированный класс, вне которого в России было так трудно жить. Кроме того, усилились надежды на помилование — а значит и на возвращение в Россию. Под влиянием этих обстоятельств или по изменчивости характера Марья Дмитриевна заметно охладела к Вергунову. Вопрос о браке с ним как-то сам собой исчез, и она написала Достоевскому, что он «материально невозможен» (Вергунов зарабатывал 300 рублей в год). В письмах к Достоевскому она не скучилась на нежности, называла его братом, говорила, что тоскует по нему. А он в ноябре 1856 г. писал: «она попрежнему всё в моей жизни, люблю ее до безумия... разлука с ней довела бы меня до самоубийства... Я несчастный сумасшедший. Любовь в таком виде есть болезнь». Он пытается дать разумное объяснение своему состоянию: «она явилась мне в самую грустную пору моей судьбы и воскресила мою душу, все мое существование». Услыхав, что Вергунов в опале, он воспрял духом и снова поставил ребром вопрос о своем браке с Марьей Дмитриевной. Когда

опять представилась возможность поездки в Барнаул, на этот раз в лучших условиях, потому что он был уже офицером, он помчался в Кузнецк, но теперь остался там не два, а пять дней. Его ждал прием, сильно отличавшийся от того, какой был ему оказан пять месяцев тому назад. Марья Дмитриевна заявила, что разуверилась в новой привязанности и никого, кроме Достоевского, по-настоящему не любит. Перед отъездом он получил ее формальное согласие выйти за него замуж в самом ближайшем будущем. В письме Врангелю от 21 декабря 1856 он писал: «если не помешает одно обстоятельство, я до масленицы женюсь». Что это было за обстоятельство — и к кому оно относилось? К Вергунову, неохотно отказавшемуся от своей возлюбленной, к Достоевскому, опасавшемуся новых осложнений, или к Марье Дмитриевне, способной опять переменить решение? Как бы то ни было, Достоевский официально считает себя женихом. Он добился своего, мечта его, наконец должна была осуществиться. Но в этот момент испытывал он не восторг, а усталость и апатию. Для каждого часа имеется свой закон, и хорошо только то, что приходит во-время. То, что запаздывает, часто теряет свою цену, и дар, который наполнил бы пьяной радостью вчера, уже не веселит сегодня. Как бегун на трудном состязании, Достоевский очутился у цели, настолько измощденный усилием, что принял победу почти с равнодушием.

Никаких восторгов и энтузиазма по поводу близкого брака в ее переписке нет: есть трезвые слова о деньгах и устройстве. Для свадьбы необходимо было по крайней мере 600 рублей, и их пришлось взять в долг у одного из семипалатинских знакомых.

Что побудило Марью Дмитриевну в конце концов согласиться на брак? Дочь Достоевского, а с ее легкой руки и некоторые биографы, хотя и не столь

категорически, как она, утверждают, что Марья Дмитриевна вышла замуж за Достоевского не любя, по расчету. Ее выставляют хитрой комбинаторшей, которая имела в виду лишь собственную материальную выгоду, водила за нос наивного и простосердечного обожателя, а между тем исподтишка продолжала связь с Вергуновым, якобы следовавшим за ней по пятам, из города в город. Все эти обвинения не вяжутся с тем образом Марии Дмитриевны, какой ее видел не только сам Достоевский, но и его ближайшие друзья: строить планы и рыть мины было совсем не в ее характере. Наоборот, она не способна была к длительному усилию, к упорной работе для достижения раз поставленной цели, и всегда действовала по наитию, порывисто, по капризу случайного настроения. Что она могла счесть брак с Достоевским наилучшим выходом из тяжелого положения — весьма возможно. После свадьбы она пишет и еgo и своим родным, что теперь спокойна за будущее Паши — этим намекая, что пошла замуж ради сына. Но для чего ей было интриговать или завлекать Достоевского в свои сети, когда он сам с восторгом шел в них, постоянно говорил о своей страстью и нежной любви и заклинал ее соединиться с ним навеки.

Он, во всяком случае, считал, что она идет за него по любви и не сомневался в ее преданности и привязанности. «Она меня любит и доказала это», — писал он Врангелю. Брак казался ему естественным завершением того, что было между ними: «отношения с Марьей Дмитриевной занимали всего меня в последние два года. По крайней мере жил, хоть страдал, но жил». Он понимал, однако, что жить все время в подобном напряжении было невозможно, и брак рисовался ему как успокоение, как начало того семейного счастья, о котором он так мечтал.

В начале 1857 года все было сговорено, он взял в долг нужную сумму денег, снял помещение, получил

разрешение начальства и отпуск для женитьбы. В конце января он выехал в Кузнецк. Там всё было готово для «тихой» свадьбы, и 6-го февраля Марья Дмитриевна и Федор Михайлович были обвенчаны в Кузнецкой церкви, где сохранилась запись об этом браке. Тотчас после церковного обряда молодожены сели в тараптас и поехали в Барнаул: там должны были они провести вместе первую ночь. Но когда они очутились в доме барнаульских знакомых, в котором предполагали прожить несколько дней, с Достоевским произошел страшный припадок падучей. С помертвевшим лицом и диким стоном он вдруг упал на пол в ужасающих конвульсиях и лишился сознания. Придя в себя, он был так слаб, что мог едва говорить и двигаться. Марья Дмитриевна до того перепугалась, что сама едва не упала в обморок. Припадок Достоевского произвел на нее потрясающее впечатление. Позвали докторов, но их диагноз не только не внес успокоения, но даже усилил общую панику: они заявили, что у Достоевского эпилепсия и предупредили, что во время подобного припадка он может умереть от горловой спазмы. Марья Дмитриевна зарыдала и начала упрекать мужа за то, что он утаил от нее свой недуг.

Достоевский оправдывался, уверяя, что и сам не знал в точности характера болезни. Действительно, до тех пор он полагал, что припадки его «хотя и похожи на падучую, но, однако же, не падучая». Так писал он брату по выходе из каторжной тюрьмы, так говорил друзьям и знакомым, осведомленным об его недуге. То же самое, еще до ареста, утверждал и его врач Яновский. Но сейчас уже не могло быть никаких сомнений, и слова докторов прозвучали грозным предупреждением. Да и как начало брачного сожительства эпилептический припадок едва ли следовало считать хорошим предзнаменованием.

Когда состояние Достоевского несколько улучши-

лось, молодые двинулись в путь. Она — разочарованная, измученная всем пережитым, он — обессиленный, как всегда после припадка, подавленный и угрюмый.

«Если бы я наверно знал, что у меня настоящая падучая, — писал он вскоре после этого, — я бы не женился. В Семипалатинск я привез жену захваченную».

То, о чём он не писал, имело гораздо большее значение. Припадок в Барнауле произошел, вероятно, в тот самый момент, когда молодожены остались одни. Он, конечно, вызвал ряд потрясений и даже травматических последствий в чисто половой области. Быть может, здесь-то и надо искать разгадки, почему брак Достоевского с Марьей Дмитриевной оказался неуспешен прежде всего со стороны физической.

В Семипалатинск Достоевские приехали 20 февраля 1857 г., и принялись устраиваться в маленькой и бедно обставленной квартире. Когда Достоевский окончательно оправился от того, что «сокрушило меня и физически и нравственно», он попытался нападить супружеские отношения. Но физическая близость не дала того счастья и забвения, о котором он мечтал. Оба были нервны и больны, у Достоевского было чувство вины, сменявшиеся взрывами страсти, бурной, конвульсивной и незддоровой, на которые Марья Дмитриевна отвечала или испугом, или холодностью. И в то же время она сама отличалась истерической чувствительностью, и настроения и желания их почти никогда не совпадали. Если бы Достоевскому попалась простая и уравновешенная женщина, которая способна была успокоить его сомнения, возродить в нем веру в свои силы, найти здоровый выход его повышенной сексуальности и этим уменьшить его комплексы мазохизма и садизма, их брачные отношения могли бы постепенно достичь какого-то равновесия чувств и чувственности. Но в той напряженной, нервной обстановке, которую

создавала Марья Дмитриевна, еще острее выступали патологические черты ее мужа. Оба раздражали, изматывали и истязали друг друга в постоянной борьбе, нападки сменялись у них раскаянием и самобичеванием, уверения в бесконечной любви превращались в бесплодный поединок тел, неудовлетворенность плоти отравляла и кровь и душу. Вместо медового месстия на их долю пали разочарование, боль и утомительные попытки добиться ускользающей и никак не дающейся половой гармонии. Полного единения не было, и телесное раздражение усиливало сердечную тоску и недовольство. На чувственный обман и создание эротических иллюзий в Достоевском Марья Дмитриевна, вероятно, была неспособна. Возможно, что она делала невыгодные сравнения между Вергуновым и мужем-эпилептиком, который порою должен был отталкивать и даже страшить ее.

Для Достоевского она была первой женщиной, с которой он был близок не коротким объятием случайной встречи, а постоянным брачным сожительством — и его отношение к ней было очень сложным. Он скоро убедился в том, что она не могла стать его подругой в чисто половом смысле, что она не разделяла ни его сладострастия, ни его чувственности. И тогда он с удвоенной заботливостью сделался ее братом, покровителем и опекуном. Он жалел ее острой человеческой жалостью, он относился к ней с лаской и нежностью, как к маленькой девочке, которую надо оберегать от возможных бед и напастей. «Она бедная, слабая, она всего боится», «у нее гордое благородное сердце», — такими выражениями пестрят все его отзывы о жене. Много лет спустя, корректорше Починковской, внешне чуть напоминавшей Марью Дмитриевну, он сказал: «была это женщина души самой возвышенной и во-сторженной. Идеалистка была в полном смысле слова, да! и чиста и наивна, как ребенок».

Но если физически они не сумели сойтись, почему же был он и во всём остальном несчастен с этой благородной и возвышенной натурой? Почему их сожительство не удалось ни в каком плане, ни в одной плоскости? А что это было именно так — тому имеется множество прямых и косвенных указаний и признания самого Достоевского. Есть и точные свидетельства тех, кто знал обоих в первые годы их трудного и странного союза.

В письмах Мары Дмитриевны тотчас же после свадьбы нет ни восклицаний, на которые обычно она не скучилась, ни уверений о счастьи, которые естественно было бы ожидать от такой эмоциональной и живой натуры как ее. Одной из своих сестер она пишет, что «любима, балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем». О ее любви к нему — ни слова. То же говорит она и отцу: «счастлива за судьбу свою и Паши». Выражения ее сухи и холодны, стиль сдержан и рассудочен. Еще более удивителен тон писем Достоевского. Он резко меняется по сравнению с его излияниями за несколько месяцев до свадьбы. От прежних восторгов и романтических преувеличений не остается и следа. Родным Мары Дмитриевны — отцу, сестре Варе, которая засело ему очень нравится и с которой он потом подружится, он главным образом хвалит Исаева и его прекрасную душу, и лишь вскользь упоминает о том, что «нечастья по службе несколько расстроили его характер и здоровье». А брату Михаилу он пишет: «я ее очень люблю и она меня и показывает все идет порядочно». Но уже в следующем письме вырывается фраза: «живем кос-как».

Объяснение этому отсутствию энтузиазма, явно указывающему на разочарование и недорады, следует искать, конечно, в характере обоих. Достоевский был человеческим тяжелым и странным. И любовь его была неслыханная — с ее противоречиями нежности, сострасти-

ния, жажды физического владычества, боязни причинить боль и неудержимого стремления к мучительству. Он не знал простых чувств (он потом признавался, что боялся и не понимал так называемых «простых натур»), и Берляев называл его любовь «дионисиевой», потому что она разрывала на части и тело, и душу. Кроме того, этот писатель, умевший разгадать и представить все изгибы ума и сердца своих многочисленных и сложных героев, не находил слов, когда ему приходилось говорить о собственных переживаниях.

«В иных натурах, писал он в «Униженных и оскорбленных», бывает иногда какое-то упорство, какое-то целомудренное нежелание высказывать даже милому тебе существу свою нежность, и не только при людях, но даже и наедине; наедине еще больше, только изредка прорывается в них ласка, и прорывается тем горячее, тем порывистее, чем дальше она была сдержанна».

Это признание явно автобиографично: почти в тех же выражениях Достоевский писал и брату и друзьям о своей неспособности выразить чувства жестом, проявить ласку, побороть свою «деревянность». Марья Дмитриевна, вероятно, принимала за холодность то, что было привычкой одиночества, робости и какой-то внутренней стыдливости.

О Марье Дмитриевне после брака Достоевский глухо писал: «Это доброе и нежное создание, немного быстрая, скорая, сильно впечатлительная, прошлая жизнь оставила на ее душе болезненные следы. Переходы в ее ощущениях быстры до невозможности».

В самом начале их знакомства он упоминал, что у нее веселый и резвый характер, хотя и отмечал ее раздражительность и впечатлительность. Теперь он подчеркивал ее нервическое непостоянство, и скачки от веселья к ипохондрии. В наше время таких женщин, как Марья Дмитриевна, считают истерическими натурой с явно выраженными тенденциями к мании

преследования и меланхолии, т. е. с чертами паранойи. Она молниеносно обижалась, повсюду видела подвохи, в гневе кричала и рыдала до упаду, потом, успокоившись, смиренно просила прощения и внезапно обнаруживала такое понимание и себя и других, такую юродость и доброту, что у Достоевского сердце разрывалось от сострадания, и он падал на колени и целовал ее руки. Конечно, ее нервозность и мнительность, фантастические вспышки злости или великодушия в значительной степени объяснялись ее общей физической слабостью: у нее назревал процесс в легких. И ее неврастения, равно как и ее нынешняя неспособность рожать детей, имели глубокие биологические корни. Жить с ней изо дня в день было не только трудно, но порою мучительно. Конечно, жить с таким издерганным, страдающим и сложным, больным и гениальным человеком, как Достоевский, тоже было нелегким испытанием.

Дочь Достоевского, а вслед за нею и некоторые исследователи жизни писателя, склонны приписывать неудачу брака более грубой и явной причине: Марья Дмитриевна-де продолжала любить Вергунова, страсти своей к прежнему любовнику скрыть не сумела, и поэтому Достоевский, в виду ее холодности и даже измены, отдалился от нее и глубоко страдал, хотя не мог уже уйти. Он оказался связанным по рукам и ногам (как известно, церковный брак можно было расторгнуть лишь после очень трудных и сложных, дорого стоявших хлопот), а дальнейшее развитие болезни жены окончательно лишило Достоевского, отличавшегося добротой и благородством, возможности покинуть несчастную женщины.

Любопытно, что тотчас же после брака Достоевский, несмотря на собственные материальные трудности и заботы, снова принимается хлопотать за Вергунову и говорит, что «он мне теперь

родного». У него к нему было странное, почти физическое чувство любопытства и расположения, которое и мужчины и женщины очень часто испытывают по отношению к тем, кто были любовно близки с их партнерами. Такое чувство может существовать, несмотря на ревность или наряду с ней. Это особого рода эротическое свойство, и у некоторых индивидуумов оно проявляется с болезненной силой. Ученик Достоевского, Розанов, вероятно, объяснил бы это ощущением сексуально-плотской общности, близким кровосмесению, «все — родственники», и сказал бы, что оно типично для людей с глубоким половым чувством.

А Достоевский принадлежал именно к таким людям.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Внешнее устройство, поиски денег, всяческие хлопоты и заботы заняли время и помыслы Достоевского вплоть до осени 1857 года. Служба отнимала почти весь день. Дома ждали его невзгоды брачного сожительства, жена с тяжелым характером, скука мещанского быта. Только одно было хорошо: он всё более и более втягивался в писание. Каково бы ни было разрешение любовной драмы Достоевского, оно освободило его писательскую энергию, и мысли и чувства его, уже более не занятые вопросами о том, как добиться Марии Дмитриевны, сосредоточились на новых произведениях.

Прошло почти два года, прежде чем Достоевский вновь обрел ту литературную беглость, какую, казалось ему, он навсегда утратил на каторге и в первый год пребывания в Сибирском Линейном батальоне. В конце 1857 года он мог с уверенностью сказать, что опять ощущал себя писателем. Его снова охватывала та одержимость в работе, которая так поражала прежде его знакомых. Он поистине жил в том мире, который создавал, он забывал и пить, и есть, обдумывая свои повести и романы, и до такой степени сживался со своими персонажами, что отвечал несподобленным жене, ронял вещи, и вообще производил впечатление совершенно искривленного человека. Мария Дмитриевна плохо понимала эту одержимость, литературная жадность ее несколько терялась, когда,

ряя комнату быстрыми шагами, Достоевский с увлечением рассказывал о каком-либо «замечательном» сюжете: для него все сюжеты всегда были замечательны. В 1857 и 1858 гг. он закончил «Дядюшкин сон» — описание провинциальных нравов в комическом виде, и «Село Степанчиково» — роман о лицемерии, герой которого, Фома Опинкин, воплощал в себе русскую разновидность Тартюфа. «Дядюшкин сон» занял десять, а «Село Степанчиково» пятнадцать листов, но Достоевский мечтал о более крупном произведении, листов на шестьдесят, в диккенсовском стиле. Это были, вероятно, первые контуры «Униженных и оскорбленных», романа, который он закончил лишь через три года и в который вложил обширный автобиографический материал.

Одновременно с писанием Достоевский упорно добивался разрешения печататься. Сосредоточенность в достижении цели, доходившая опять-таки до одержимости, была характерна для него еще с молодости: он любил говорить о «неподвижных идеях» (*idee fixe*), о необходимости «бить в одну точку». Сейчас неподвижной идеей было возвращение в литературу.

В августе 1857 года в «Отечественных записках», впервые после восьмилетнего исчезновения его имени со страниц печати, появился его рассказ «Маленький Герой», написанный еще в 1849 году, до ареста. Но прошло еще два года, прежде чем «Русское Слово» могло напечатать «Дядюшкин сон» (февраль 1859), а «Отечественные записки» — «Село Степанчиково» (тоже в 1859 г.).

Либеральные меры нового царствования оживили надежды Достоевского, и он крепко верил, что Александр II развязает тугие узлы, завязанные его отцом. Военной службой он очень тяготился, но выход в отставку зависел от разрешения проживать в Европейской России: он не мог рассчитывать на штатскую

службу³ в Семипалатинске, а мечты о возобновлении литературной карьеры и соответственного заработка упирались в чисто физические препятствия: письма в столицу шли по 20–25 дней, переговоры с издателями и журналами приходилось вести через брата Михаила. У него была и семья, и дела — он владел папирской фабрикой — и, несмотря на всю любовь и преданность, не мог превратиться в литературного агента. Для того, чтобы зарабатывать на жизнь писательством, надо было находиться «у истоков», т. е. в Москве или Петербурге. А думать об этом до окончания срока службы в Сибири нельзя было. Отрадным признаком, однако, было возвращение ему потомственного дворянства в мае 1857 года. Это означало полное восстановление в правах. Офицер и дворянин, он уже не чувствовал себя более каторжником и государственным преступником. Но хлопоты Врангеля, находившегося в Петербурге, брата Михаила и ряда знакомых подвигались очень медленно. Вместо осуществления надежд — вокруг была тошная строевая служба, нищенское жалованье, упреки жены. Марья Дмитриевна видела, что и ее мечты не воплотились: ведь ей хотелось вернуться в семипалатинское общество победительницей и доказать всем этим тупым и чванливым дамам, как они ошибались, пренебрегая ею. Но получить реванш не удалось: денег у нее не было даже для самого скромного приема гостей или для нарядов, и приходилось снова сидеть дома и скучать. Пашу, опять-таки благодаря усилиям Федора Михайловича, удалось определить в Сибирский Кадетский корпус, и с августа 1857 супруги жили вдвоем. Оба хворали — Достоевский приписывал нездоровью жены отсутствие детей. «Живем мы понемногу, — писал он Константу, — и нет причин жаловаться на свою судьбу, но здоровье мое плохое». Любопытно, что, судя по записи, которую Достоевский вел, отмечая даты своих припадков, именно

в период сентябрь-декабрь 1857 г., когда он жаловался на здоровье, эпилепсии у него не было. Очевидно, подавленное настроение вызывалось другими причинами. В конце ноября он пишет сестре Марии Дмитриевне, Варе:

«Знаете ли, у меня есть такой прелрасудок, предчувствие, что я скоро должен умереть. Такие предчувствия бывают почти всегда от минительности, но уверяю вас, что я в этом случае не мнителен, и уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная... Мне кажется, что я уже всё прожил на свете и более ничего не будет, к чему можно стремиться». Эти строки он пишет через десять месяцев после брака с «ангелом», с той женщиной, «без которой нельзя жить» и из-за которой он собирался броситься в Иртыш.

В январе 1858 г., следуя советам друзей из Петербурга, Достоевский подал официальное прошение об отставке и разрешении вернуться в Европейскую Россию. Ведь он отбыл срок наказания — по приговору ему полагалось провести четыре года в Сибири по выходе с каторги, — и вот четвертый год в Семипалатинске подходил к концу. Прошло, однако, еще пятнадцать месяцев прежде чем просьба его — вполне законная — была удовлетворена. И ожидание оказалось настолько томительным, что Достоевский сохранил о нем самые мрачные воспоминания. «Живу в Семипалатинске, который мне надоел смертельно, жизнь в нем болезненно мучит меня, — писал он Якушкину в декабре 1858 г., — журналов я не читаю, и вот уже полгода не брал в руки даже газет». Писание подвигалось медленно, но тут причиной было желание Достоевского наилучшим образом воплотить свой художественный замысел. В мае 1858 он отвечает брату на письмо о художественном творчестве.

«Но что у тебя за теория, друг мой, что картина должна быть написана сразу и пр. и пр. и пр. Поверь,

что везде нужен труд, и огромный. Ты явно смешиваешь вдохновение, т. е. первое, мгновенное создание картины или движения в душе (что всегда так и делается) с работой. Я, например, сцену тотчас же и записываю, так, как она мне явилась впервые, и рад сей; но потом целые месяцы, годы, обрабатываю ее, вдохновляясь сю по несколько раз... и несколько раз прибавлю к ней или убавлю что-нибудь».

Но в 1858 и начале в 1859 года вдохновения было мало и оставалась по преимуществу работа, да и та не клеслась.

Меланхолию и апатию Достоевского усиливала разрушающее сознание семейного банкротства. Едва он приходил домой с ненавистной службы, как начинались стычки с женой, ее слезы и упреки. Она все желала «играть роль», и обижалась на него, точно он был виноват в безденежки и невозможности принимать. Поддавшись его уверениям, что всё скоро образуется, она считала семипалатинское существование временным, и они жили точно на бивуаке. Хотя Достоевский и выбивался из сил, давая уроки, занимая деньги направо и налево и прибегая ко всевозможным финансовым комбинациям, они никак не могли выбраться из нужды. Его иллюзии, что она хорошая хозяйка, быстро улетучились.

Как и он, она не умела считать деньги, жили они беззаботно, в постоянном страхе кредиторов, неприятностей и полного расстройства их скучных финансов, иными словами, в боязни, что наступит день, когда и хлеба будет не на что купить. Им едва хватало, чтобы заплатить за стол и квартиру, об иных расходах не приходилось и думать. Одна из учениц Достоевского, Маньотова-Мельчакова, дочь купца, которую он обучал математике, вспоминала, как ее учитель хрипло кашлял зимою и «прикрывал шинелью недостатки костюма». Несчастный этот год тянулся без радостей и просветов, от любви осталась только привычка привязанно-

сти и жалость, будущее представлялось в самых не- приглядных красках.

Но вот весной 1859 года было получено долгожданное разрешение выйти в отставку и избрать для жительства любой город Европейской России, за исключением столиц: пребывание в Москве или Петербурге было ему запрещено. Достоевский разом воспирал духом. Начались хлопоты — на этот раз веселые — об отъезде. Все знакомые снаряжали их в дорогу, получить взаймы деньги на путешествие не представило никаких трудностей. Пашу взяли из корпуса. 30 июня была подписана официальная бумага о выходе Достоевского в отставку в чине подпоручика. Через два дня в тарантасе, специально купленном для поездки, Федор Михайлович, Марья Дмитриевна, Паша и слуга выехали из Семипалатинска. Достоевский решил поселиться в Твери: город находился вблизи Москвы, на линии железной дороги между двумя столицами. До места назначения надо было сделать четыре тысячи верст на лошадях. Ехали долго, останавливались в разных городах, в Екатеринбурге не удержались: накупили чёточек, запонок, пуговиц из самоцветных камней. В Нижнем Новгороде Марья Дмитриевна отдыхала в гостинице, покамест Достоевский осматривал знаменитую ярмарку. Вообще, Марья Дмитриевна плохо переносила езду и всё болела, и того удовольствия, какое Достоевский ожидал от путешествия, не получилось: никто не разделял его восторгов от природы и новых лиц и мест, и он с особенной силой ощущил свое одиночество.

Это ощущение резко усилилось по приезде в Тверь, в конце августа. После долгих поисков они сняли меблированную квартирку из трех комнат. Так советовал брат Михаил, да на большее нехватало средств; но Марья Дмитриевна осталась этим очень недовольна. Всё не нравилось ей в Твери, и она донимала мужа упреками и нелепыми просьбами. И Достоевскому

Тверь не понравилась — это был маленький провинциальный городок с улицами, поросшими травой, — но он волновался от близости столицы, без умолку говорил о своих литературных планах. А она отвечала ему жалобами на то, что у нее нет туалетов и все тряпки ее слишком пахнут сибирской глушью. Во всяком случае, вот что он пишет брату на другой день после возвращения из каторги и ссылки, после своего, как он выражается, воскресения из мертвых, после восьми лет разлуки с Россией:

«Вчера писал тебе о шляпке, не забудь, ради Бога, друг мой. Образчик лент для уборки шляпы, ленты эти от Вихман из Петербурга (сказала здешняя магазинщица). Цвет же шляпки как серенькая полоска на лентах». Главная забота Марии Дмитриевны была не ударить лицом в грязь перед местными модницами, но она тут же заявила мужу, что выходить не станет, потому что сей негде принимать. Своей квартиры она стыдилась, бедность свою принимала, как незаслуженное оскорблование, и вообще вела себя, как мученица, которую унижал и обижал злой тиран муж — недостойный ее возвышенной души. В «Униженных и оскорбленных» Достоевский описал это состояние: «так бывает иногда с добрышими, но слабонервными людьми... У женщин, например, бывает иногда потребность чувствовать себя несчастною, обиженною, хотя бы не было ни обид, ни несчастий».

Через два месяца после обоснования в Твери он писал в Сибирь: «знакомства веду я один, Марья Дмитриевна не хочет, потому что принимать у нас не где... Марья Дмитриевна плачет иногда, вспоминая вас», т. е. Семипалатинск. Если недавнее прошлое казалось ей ныне завидным, а воспоминание о нем вызывало слезы сожаления, то значит переезд в Европейскую Россию принес новые разочарования и новую неу... Все ее тяготило, она никак не могла прими-

риться ни со своим положением, ни с работой
ни с его родней. К Достоевскому приехал старший брат, Михаил, которого он не видел девять лет, это свидание было для него огромной радостью; но всё дело испортила Марья Дмитриевна. Отношения ее с Михаилом не наладились, оба друг другу не приглянулись. Михаил скрывал свою неприязнь, а Марья Дмитриевна открыто ее проявляла. Она знала, что в свое время Михаил отговаривал Федора от женитьбы. Она знала также, что он был счастлив в семейной жизни, что жена его, немудрая хорошенъкая немочка, которую нашел он в Ревеле, родила ему детей, устроила ему уютный дом и жила с ним душа в душу — то есть как раз то, чего она не сумела дать Федору Михайловичу. Во всяком случае она тотчас же начала ревновать мужа к Михаилу, заподозрила семью брата в интригах против нее самой, и всем своим поведением и речами доставила лишнее огорчение Федору Михайловичу.

Она всегда была фантастична и ниттельна,ревновала к

собственного мужа, и Достоевский хмурился и раздражался, когда она заговаривала о современной литературе, в которой мало понимала. Тяготил его и ее внутренний провинциализм, ее неожиданные идикие нападки на мало знакомых людей, ее способность сгоряча расхвалить человека, а потом уничтожить «его» насмешками и бранью, ее переходы от оптимистических фантазий к полной простирации. Порою, особенно когда она давала волю своей подозрительности и обзывающая врагами, чуть ли не дьяволами, самых безобидных людей, он ощущал приступы злобы и ненависти.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Именно в Твери брак Достоевского потерпел окончательное крушение. Было ли это следствием постепенно накапливавшихся недоразумений и даже вражды? Прекратилась ли та физическая близость, которая, худо ли хорошо ли, всё же существовала еще в Семипалатинске? Или же надо поверить неправдоподобному рассказу дочери Достоевского о том, что Вергунов будто бы последовал за Марьей Димитриевной в Тверь, и измена ее стала очевидной даже для идеализировавшего ее мужа? Скорее всего, Марья Димитриевна призналась, что продолжает любить Вергунова. Но даже если всё было так, как описывает дочь Достоевского, и Марья Димитриевна объявила мужу, что не любит и никогда не любила его, какую цену мог он придавать ее истерическим выкрикам? Он-то хорошо знал, что она — больная и несчастная женщина, на каждом шагу изобретающая новые выдумки, чтоб заглушить свои метания и горечь. Он прекрасно понимал, что она тоже страдает. Самые отношения их были основаны на том, что оба мучили и жалели друг друга. Просветы нежности и сострадания связывали их больше, чем страсть. Странное чувство — смешение боли, милосердия (особенно с его стороны), воспоминаний о прошлом, сожаления о несбывшемся — притягивало их друг к другу. Да кроме того, создалась и привычка, от нее слишком трудно было отказаться. Пять лет Достоевский любил Марью Димитриевну, и он жил с ней третий год. Уже

после ее смерти он признавался Врангелью, единственному человеку, знавшему правду о браке Достоевского:

« Несмотря на то, что мы были положительно несчастны вместе, мы не могли перестать любить друг друга: даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу» (письмо от 31 марта 1865 года).

Разгадку этой странной связи надо отчасти искать в детских впечатлениях Достоевского: в те годы, когда мать его угасала от чахотки, образовалась в нем бессознательная ассоциация любви и недуга, нежности и страдания, влечения и телесного ущерба. Слияние — по сходству — двух образов, жены и матери, в один, больной и страдающей женщины, являлось одновременно и источником физической преграды по отношению к Марье Димитриевне, и причиной крепкой сердечной любви. Марья Димитриевна сознавала, что болезнь лишила ее прежней привлекательности и мучительно переживала исчезновение физической близости с мужем, но отшатывалась от него, едва он проявлял желание. Она говорила ему, что он только и ждет ее смерти, чтобы отделаться от ненужной обузы, но когда он убеждал ее лечиться, утверждала, что нужна ему лишь как любовница. Она обвиняла его во всех смертных грехах, в измене и обидах, подлинных или выдуманных, нынешних и прошлых, она вспоминала все ошибки последних четырех лет. Больше всего Достоевский любил ее, когда расставался с нею. Достаточно было ему уехать от нее, как он начинал тосковать по ней и жалеть ее самой горячей жалостью. Разлука пробуждала в нем нежное влечение к той, от кого он с облегчением убегал, чтоб хоть немного отдохнуть и отогнать. То же было и с ней. Поэтому всегда после разлуки происходили трогательные сцены примирения и попытки новой жизни, а затем, после нескольких дней (а иногда и часов) тишины и гармонии — снова споры, ссоры, семейный ад.

В сентябре 1859 года на вопрос Врангеля он отвечает: если спросите обо мне, то, что вам сказать: взял на себя заботы семейные и тяну их. Но я верю, что еще не кончилась моя жизнь и не хочу умирать». Смысл этого признания ясен: от брака не осталось *ничего*, кроме обязанностей. Долг — оставаться с женской, которая не могла дать ему ни уюта, ни семьи, ни любви. Неудачу своего личного существования он ощущал очень болезненно. В октябре 1859 писал брату: «положение мое здесь тяжелое, скверное, грустное. Сердце высохнет. Кончается ли когда-нибудь мои бедствия?».

И затем в разных письмах звучит все тот же *мотив*: «я вполне один». Это сознание одиночества и есть окончательный приговор его браку. Он ошибся насчет Марии Дмитриевны: она прекрасная и добрая женщина, но таков ее характера, и таковы обстоятельства, что ничего, кроме горя, ему от нее не видать.

Единственной отрадой и спасением было писание, но осенью 1859 и в начале 1860 гг. литературные дела его были далеко не блестящи: «Дядюшкин сон», напечатанный в «Русском Слове», успеха не имел, с «Селом Степанчиковым», который Достоевский называл комическим *принципом*, а принциппом *отечественного юмора* в Англии, где в конце концов напечатали его, критика не обмолвилась о новом произведении ни одним словом. Теперь Достоевский работал над «Униженными и оскорбленными» и «Записками из мертвого дома» и все переписывался с братом насчет издания собрания сочинений в двух или трех томах — главным образом для улучшения финанс.

Хотя припадков не было, здоровье его попрежнему было шатким. Мария Дмитриевна была одержима своей «неподвижной идеей»: ей все мерещилось, что он скоро умрет, и она останется вдвоем с сыном в еще

более трудном положении, чем после первого вдовства. Она поэтому заставляет его в письме к государю по самому важному для него вопросу — о разрешении жить в столице — включить просьбу о принятии Паши в гимназию на казенный счет... О «потомственном дворянине двенадцатилетнем Паше Исаеве» пишет он и в других обращениях к различным высокопоставленным osobам. Оба ходатайства удовлетворены: Паша помещен в гимназию, а в декабре 1859 года получено, наконец, разрешение на свободное проживание в обеих столицах. Еще до этого Достоевский отправился тайком на один день в Москву, и, по возвращении, так воспели же ему своими восторженными рассказами, что и она начала строить планы о переселении из Твери. Это был единственный случай, когда она вышла из просто обычного состояния меланхолии, апатии или болезни за мужа: она приходила в ужас от самого ничтожного желудочного недомогания Достоевского, и в то же время сдво сознавала, что сама таяла от медленно но неуклонно развивавшейся болезни.

В декабре 1859 г. Достоевский выехал в Петербург, а в начале 1860 к нему присоединилась Мария Дмитриевна. Она, однако, не выдержала холодного и гнилого климата столицы, и принуждена была вернуться в Тверь. С этого момента совместная жизнь их нарушена, они лишь изредка имеют подобие общего дома, а чаще всего проживают на разных квартирах, в разных городах. Летом 1862 года Достоевский отправился за границу, один, а Мария Дмитриевна осталась в Петербурге якобы для помощи сыну в подготовке к гимназическому экзамену (Паша оказался «не успевающим» учеником). Некоторым друзьям Достоевский объяснял, что на поездку заграницу с женой не хватило денег. Перед отъездом он выдал си доверенность на получение всех причитающихся ему сумм в случае его болезни или смерти. Всякие отговорки и объяснения нужны бы-

ли, вероятно, для соблюдения приличий — но с 1861 су-
пруги жили врозь не только физически, но и решит-
но во всём остальном. У Достоевского была его
ственная жизнь, к которой Марья Дмитриевна не
имела никакого отношения. Она чахла и умирала. Он
встречался с людьми, издавал журнал и писал: с
по 1862 год он написал свыше ста печатных листов.¹⁸⁶⁰

Заграницу летом 1862 года он ехал с явным чув-
ством радости и свободы. Впервые за долгое время
веселые, даже шутливые ноты звучат в его письмах к
близким людям.

«Ах, кабы нам вместе, — пишет он Страхову. —
Увидим Неаполь, пройдемся по Риму, чего доброго
придаст нам молодую венецианку в гондоле (А?
Николаевич?). Но.. ничего, ничего, молчанин!»¹⁸⁶¹
говорит в этом же самом случае Поприщин.

Ему страстно хотелось побывать в Италии — и
хотелось именно теперь, пока были силы, и жар, и по-
эзия, как писал Полонскому, а не ждать до того
мени, когда он отправится на юг с лысой и плещивой
головой лечить на солнце застарелый ревматизм.

Он побывал в Берлине, Париже, который очень
ему не понравился, проехал по Рейну и Швейцарии, а
затем прожил несколько недель во Флоренции и об-
ездил почти всю Италию. Именно в эту поездку начал
он играть в рулетку, и эта новая страсть поглотила его
целиком.

В сентябре, по возвращении, он нашел Марью Ди-
митриевну в постели. Ей было очень худо. С этого мо-
мента она — инвалид, и Достоевский ухаживал за нею,
как брат милосердия. Зимой она почти не выходила из
своей комнаты и лежала по целым месяцам. Весною
1863 ей стало так плохо, что опасались за ее жизнь, и
ей удалось выжить чудом. При первой возможности
Достоевский отвез ее во Владимир, где климат был то-
98

разо мягче. В июне он описывал свои невзгоды Тур-
геневу: «болезнь жены (чахотка), расставание мое с
нею (потому), что она, пережив весну, т. е. не умерев
в Петербурге, оставила Петербург на лето, а, может
быть, и далее, причем я сам ее сопровождал из Петер-
бурга, в котором она не могла более переносить кли-
мата».

Но сам Достоевский за нею во Владимир не после-
довал. Сперва он по горло был занят делами, издатель-
скими и финансовыми, а затем снова уехал заграницу
— и на этот раз он был уже в Париже, Италии и Гер-
мании не один.

Жену увидал он только в октябре, во Владимире, и
тут же принял решение везти ее в Москву: поселяться
с нею в Петербурге было невозможно, а оставлять во
Владимире тоже повидимому нельзя было. Марья Ди-
митриевна была настолько изнурена лихорадкой и, впо-
ходе, находилась в таком критическом состоянии, что
даже переезд из Владимира в близкую Москву пред-
ставлялся затруднительным, почти опасным. «Однако,
пишет Достоевский брату, по некоторым крайним об-
стоятельствам другие причины так настоятельны, что
оставаться во Владимире никак нельзя». Каковы были
эти причины? Действовали ли тут соображения дело-
вого порядка, или же, как всегда у Достоевского, за
короткими фразами письма скрывались какие-то слож-
ные жизненные сплетения, какие-то тайные ходы лич-
ных отношений и психологических комплексов, кото-
рые так и останутся одной из загадок биографии
писателя? Неужели во Владимире, как об этом наме-
кает *Марья Дмитриевна*, не *важно* мужа? *Же-
жест*

верности и не хотела с ним расставаться — он же мог
выбирать лишь между Москвой и Петербургом, но уж
ни в коем случае не хоронить себя в провинциальном
Владимире. Или, возможно, что Марья Дмитриевна

поссорилась с теми родными или знакомыми, которые всё это время ходили за нею. И уж во всяком случае, Достоевский считал своим долгом облегчить жене последние месяцы ее жизни. Это было гораздо легче в Москве.

В начале ноября Достоевские обосновались в Москве. Федор Михайлович получил небольшое наследство и был менее стесен в деньгах, чем обычно. Он проводил дни и ночи за письменным столом, но работа подвигалась плохо: он писал «Игрока» и статьи для журнала «Эпоха». Два припадка прервали его деятельность на несколько дней, но самым большим препятствием к труду была необходимость ухаживать за женой. Она от болезни стала так раздражительна, что не могла выносить никого, даже сына, приехавшего из Петербурга навестить ее. Впрочем, он был настолько легкомыслен, учился так плохо и делал такие глупости, что сделался совсем несносным подростком.

Достоевский отлично сознавал, что конец близок.

«Жаль мне ее ужасно, — пишет он брату в январе 1864 г., — у Марии Дмитриевны поминутно смерть на уме, грустит и приходит в отчаяние. Такие минуты очень тяжелы для нее. Нервы ее разражены в высшей степени. Грудь плоха, и иссохла она, как спичка. Ужас! Больно и тяжело смотреть».

Мария Дмитриевна умирала мучительно и трудно: ее страдания и настроения, повидимому, носились в памяти романиста, когда он описывал в «Идиоте» агонию Ипполита. Да и все больные, большей частью чахоточные женщины его произведений, сохраняют черты, общие с Марьей Дмитриевной.

Уже в феврале стало ясно, что весны Мария Дмитриевна не переживет. Достоевский плохо работает, сам болеет, душевно разрывается между умирающей женой и той внутренней драмой новой любви, которая в это время владела им.

Мария Дмитриевна таяла буквально с каждым днем. Достоевский писал 26 марта:

«Мария Дмитриевна до того слаба, что А. П. (доктор) не отвечает уже ни за один день. Далее двух недель она *изачто* не проживет. Постараюсь кончить повесть поскорее, но сам посуди, удачно ли время для писанья?»

А Мария Дмитриевна, как это часто бывает с умирающими, уже перестает понимать, что ее положение безнадежно, мечтает уехать в Астрахань к отцу, или в Таганрог, где у Константов был дом, и боится напоминаний о Паще, ибо она заявила: что хочет видеть его только для предсмертного благословенья. И как раз в те дни, когда она предается всяким мечтаниям об отъезде и поправке, Достоевский просит брата приготовить черную одежду для сына Марии Дмитриевны и пишет: «как умрет Мария Дмитриевна, я тотчас же пришлю телеграмму». Это приятне совершающегося и спокойное, почти деловое обсуждение неизбежного продолжалось, однако, недолго. В апреле началась длительная и страшная агония Марии Дмитриевны: «мучения мои всяческие теперь так тяжлы, — писал Достоевский 2 апреля, — что я и упоминать не хочу о них. Жена умирает буквально. Каждый день бывает момент, что ждем ее смерти. Страдания ее ужасны и отзываются на мне, потому что... Писать же работа не механическая, и однако же я пишу и пишу, по утрам».

14 апреля с Марьей Дмитриевной сделался приступ: кровь хлынула горлом и начала заливать грудь. На другой день к вечеру она умерла — умерла тихо, при полной памяти, и всех благословила: «она столько выстралала, что я не знаю, кто бы мог ее примириться с нею». Эти слова письма Достоевского, извещавшего «кончину» жены, были обращены к брату Михаилу, которого Мария Дмитриевна всегда считала ее «тайным

врагом». Он, в свою очередь, очень не любил ее и был уверен, что она загубила жизнь Федора Михайловича.

Через год после смерти жены Достоевский так писал о ней тому, кто не только знал ее, но и был свидетелем первых лет их любви:

«Существо, любившее меня и которое я любил без меры, жена моя умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей от чахотки. Я переехал вслед за нею, не отходил от ее постели всю зиму 64 года, и 16 апреля прошлого года* она скончалась в полной памяти... и, прощаясь, вспомнила и вас. Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Всё расскажу вам при свидании, теперь же скажу только то, что, несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру), мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла — я хоть мучился, видя весь год, как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот уж год, а чувство всё то же, не уменьшается».

Достоевский любил ее за все те чувства, которые она в нем возбудила, за всё то, что он вложил в нее, за всё, что с нею было связано — и за те страдания, которые она ему причинила. Но он любил ее и за ее собственные страдания — тем сложным сплетением

* Даты Достоевского не совсем точны: Мария Дмитриевна переехала в Москву в ноябре 1863 года, а умерла 15 апреля 1864 года.

человеческой жалости, нежности, сладострастия и того одновременно сыновнего и отцовского чувства близости, которое связывало его с больной и истерической Марьей Дмитриевной крепче, чем радость удачного брака. Недаром она напоминала ему его больную мать. В некоторых отношениях были они похожи друг на друга: в обоих легко вспыхивал «какой-то огонь исступления, оба не вмешались в обычные рамки спокойствия и привычки, у обоих всё было через край, не знало меры. Но то, что было пламенем гения в Достоевском, у Марии Дмитриевны полыхало болотными огоньками тяжелого недуга.

След от Марии Дмитриевны можно найти во многих произведениях Достоевского. Наташа в «Униженных и оскорблённых», жена Мармеладова в «Преступлении и наказании», отчасти Настасья Филипповна в «Идиоте» и Катерина в «Братьях Карамазовых» — все эти образы женщин с бледными щеками, лихорадочным взором и порывистыми движениями навеяны той, кто был первой и большой любовью писателя.

То, что Достоевский написал и о ней, и о своих переживаниях Врангелю, старому семипалатинскому другу, было, конечно, истинной правдой. Но он не упомянул, что ухаживая за умирающей, он ощущал не одну только муку сострадания и привязанности. Он должен был испытывать и чувство вины, может быть, стыда и угрызений совести, потому что и сердце, и мысли его были разделены, и у изголовья Марии Дмитриевны он мечтал о другой женщине и стремился к ней со всей силой страсти, ревности и желания.